

*Ой ты, наш батюшка тихий Дон!  
Ой, что же ты, тихий Дон, мутнехонек, течешь?*

Из старинной казачьей песни

**“В**ызрел ковыль. Степь на многие версты оделась колышущимся серебром. Ветер упруго приминал его, наплывая, шершавил, бугрил, гнал то к югу, то к западу сизо-опаловые волны. Там, где пробегала текущая воздушная струя, ковыль молитвенно кланялся, и на седой его хребтине долго лежала чернеющая тропа.

По ночам на обугленно-черном небе несчетные сияли звезды; месяц — казачье солнышко, темнея ущербленной боковиной, светил скупю, бело...

А днями — зной, духота, мглистое курево... По степи слепяще неотразимо сияет ковыль, дымится бурая, верблюжьей окраски, горячая трава... Даже курган синееет на грани видимого сказочно и невнятно, как во сне...

Степь родимая! Горький ветер, оседающий... На сухом конском храпе от ветра солоно, и конь, вдыхая горько-соленый запах, жует шелковистыми губами и ржет, чувствуя на них привкус ветра и солнца...»

Такой речитатив из эпического романа «Тихий Дон» великого писателя XX века Михаила Александровича Шолохова прозвучал наряду с гимном святым равноапостольным Кириллу и Мефодию, песнями народными, русскими, советскими, песнями наших дней на Красной площади Москвы на гала-концерте, посвященном церковному и государственному празднику — Дню славянской письменности и культуры... Слова строк «Тихого Дона» вместе с праздничной музыкой разнеслись от Красной площади по России и далее, далее — на всей планете были слышны:

«Родимая степь под низким донским небом! ...ковыльный простор, курганы, в мудром молчании берегущие зарытую казачью славу... Низко кланяюсь и по-сыновьи целую твою пресную землю, донская, казачьей, не ржавеющей кровью политая степь!»

Событие истинно знаковое: шолоховские слова, звучащие в День славянской письменности — это есть дань уважения, любви, истинного поклонения гениальному мастеру безупречной художественной письменности. Как никто другой из



Михаил Шолохов

русских советских писателей, Михаил Александрович Шолохов подсознательно опирался на ипостась церковного языка, являвшегося «международным языком славянской письменности и цивилизации» и ставшего органично и литературным языком. Своим, только ему присущим художественным стилем, Шолохов продолжил развитие славянской письменности. Продолжил тем, что творчески использовал художественную речь русской литературной классики, предтечей которой и были славянская азбука, славянская письменность. Продолжил воплощением в своих книгах всей словесной мощи русского литературного и народно-разговорного языка.

Читая и перечитывая Шолохова почти всю жизнь, так же постоянно я думал и размышляю о том, чем же так притягательны его слова, отчего так близки они читательскому сердцу и так сладко и мучительно волнуют душу?! Нет, наверное, однозначного ответа на эти вопросы, потому что, беря в руки шолоховский то-

мик, каждый раз находишь новые грани писательского таланта. Вот недавно меня поразило поэтическое дарование... прозаика Михаила Шолохова, который воспел родимый донской край с его главной достопримечательностью — родной донской степью, используя истинно поэтические образы и слова: «Степь на многие версты оделась колышущимся серебром», «неотразимо сияет ковыль», «от ветра солоно».

Как давний и преданный почитатель творчества Михаила Александровича Шолохова, пробую сравнить их, эти прозаические строки, с поэтическими строками Максимилиана Волошина о крымской степи, которые прочитал десятилетиями позже романа «Тихий Дон». Пробую сравнить, чтобы основательнее убедиться: а не было ли чрезмерно возвышенно изначально мое читательское восприятие «Тихого Дона» в ту молодую пору? Нет-нет, все остается и теперь так, как было в той безотчетной моей молодости, когда легла на сердце шолоховская поэтика. И вновь убеждаюсь: как же сродни словесное мастерство Шолохова и Волошина, какая же слитность, неразмежеванность, нераздельность прозы и поэзии! И вот две разные по своей природе степи исторгают из себя единство красоты, очарования для сердечного постижения человеческого счастья в простых земных приметах:

По ветру лоснится ковыль.  
Что может быть нежней, чем пыль  
Степной развезженной дороги?  
На бурный стелется ковер  
Полдневный пламень, сух и ясен,  
Хрусталь предгорный так прекрасен,  
Так бледны дали серых гор.  
Соленый ветер в пальцах вьется.  
Ах, жажда счастья, хмель отрав,  
И соль овечьего колодца...

А если, переведа дух от дивного совпадения прозы и поэзии, обратить мысли свои на то, что сыновнее признание отчей земле Михаил Александрович Шолохов сделал в исключительно трудную для донской степи пору — пору знойную, засушливую: «Терпкий воздух был густ, ветер сух, полынен; земля, напитанная все той же горечью всеильной полыни, тосковала о прохладе... Степь горяча, но мертва, и все окружающее прозрачно-недвижимо...», то можно постичь большее! Вот так же, как о родной степи в нелегкую для нее пору зноя и засухи, писатель Шолохов взял на себя душевную и сердечную тяжесть писать о родном донском крае и казачестве в самые крутые изломы его истории.

В «Донских рассказах» и в «Тихом Доне» — о смертельном начале утраты российского государственного казачьего сословия по роковой воле революции и рожденной ею гражданской войны, когда «кровью обмокла душа» казаков, пробуждая неприглядные человеческие качества и в казаках-большевиках, и в красноармейцах, и в противостоящих им казаках.

В «Поднятой целине» — об исходе казачества, с его героическими страницами в истории России, по диктату насильственной коллективизации, сопровождающейся помутнением человеческого сознания в выборе добра и зла, о потерях веры у одних и обретениях веры у других в счастливое будущее.

В «Науке ненависти» и в начальных главах романа «Они сражались за Родину» — о тяжелых годах Великой Отечественной войны, будничной стойкости и не на показ любви к Родине, о науке воевать, науке ненавидеть, науке любить.

В «Судьбе человека», который Хемингуэй назвал лучшим рассказом XX века, — о способности в тяжелых условиях немецкого плена сохранить свое человеческое достоинство, о стремлении вырваться на свободу и сохранить *свою*, вместе со всеми, борьбу с фашистами, о душевных муках из-за потерь родных и близких, о том, что не понималось в мирное время, как надо было бы их ценить, беречь, любить.

Земная любовь людей, с их чувственными, интимными, семейными, житейскими аспектами, не была изначально поставлена писателем Шолоховым вровень с эпохальными событиями и переменами, которые он брался отобразить в своих книгах. Она вплеталась в них органично и неотъемлемо, потому что писатель не мог не отразить правду жизни во всем ее величии и многообразии. А читатели, среди которых и автор этой публикации, были заранее уверены, — и не ошиблись! — что прочтут о любви. Эта надежда жиддилась на априори: сюжеты о любви есть неотъемлемая часть художественной литературы, каждого, почти без исключения, произведения прозы и поэзии.

И даже Библия! — где в «Песне Песней Соломона» словесно для нас сегодня сливаются два жизненных начала — красота духовная и красота физическая. От словесной образности, метафоричности, яркости впечатлений женщины о мужчине, мужчины о женщине в «Песне Песней» и начинается слитная проза и поэзия о любви: «Вся ты прекрасна, возлюбленная моя, и пятна нет на тебе. Я принадлежу возлюбленному моему, а возлюбленный мой — мне; он пасет между лилиями».

«Песня Песней» лишь после долгих богословских споров была включена в канонический текст Библии в отделе *письмен* наряду с отделами — *закон и пророки*. Многих смущала запальчивая эротическая смелость текста, но чистота земной любви, достигшей высот неземной любви, восторжествовала, и «Песня Песней» заняла свое место в Священной книге.

И в первых светских книгах повествование о земной человеческой любви начало занимать равное место с повествованием об исторических событиях и простых житейских перипетиях. В грандиозной «Илиаде», напетой слепым Гомером, затем записанной гекзаметром в количестве 15 700 стихов в книге на пергаменте,

созданной в IX–VIII веках до новой эры, основной сюжет — многолетняя Троянская война. Но и... Но и, по изящно выраженному знаменитым русским поэтом Мандельштамом, о том, что «И море, и Гомер — все движется любовью»:

... Гомер. Тугие паруса.  
Я список кораблей прочел до середины...  
Сей длинный выводок, сей поезд журавлиный,  
Что над Элладаю когда-то поднялся.  
Как журавлиный клин в чужие рубежи, —  
На головах царей божественная пена, —  
Куда плывете вы? Когда бы не Елена,  
Что Троя вам, одна, ахейские мужья?  
И море, и Гомер — все движется любовью...

*Когда бы не Елена...* (Елена — Елена Прекрасная, в греческой мифологии дочь Зевса и Леды, жена царя Спарты Менелая, славившаяся необыкновенной красотой, похищение Елены из-за ослепительной красоты Парисом и послужило поводом к долголетней тяжелой Троянской войне).

Вот и в книгах Михаила Александровича Шолохова...

*Когда бы не Аксинья...* Что был бы для нас роман «Тихий Дон»? Разве читался бы он так, как читается: захлеб буквально. Здесь, конечно, заслуга автора. Не будь им Шолохов, то история двух влюбленных, Аксиньи и Григория, могла бы быть одной из самых банальных повествований о незаконной полюбленной связи казака-парня и замужней казачки на хуторе Татарском. А у Шолохова! — с известными ныне всем завершающими, пронзительно потрясающими строками: «Хоронил он свою Аксинью при ярком утреннем свете... В дымной мгле суховея вставало над яром солнце. Лучи его серебрили густую седину на непокрытой голове Григория, скользили по бледному и страшному в своей неподвижности лицу. Словно пробудившись от тяжелого сна, он поднял голову и увидел над собой черное небо и ослепительно сияющий черный диск солнца»...

*Когда бы не Наталья...* Без нее разве не обмелел бы «Тихий Дон»? Разве могли бы мы, ослепленные любовью Аксиньи к Григорию, прозреть, что жила на хуторе Татарском чистая душой девушка-казачка, любовь которой оказалась куда выше! В свою последнюю встречу с Аксиньей Наталья говорит о своей любви без крика и надрыва, и потому ее тихий голос так явственно слышен и нам:

«Одно я знаю: не любишь ты его, а тянешься за ним по привычке. Да и любила ль ты его когда-нибудь так, как я? Должно быть, нет. Ты и с Листницким путалась, с кем ты, гулящая, не путалась? Когда любят — так не делают».

Далее по тексту: «Аксинья побледнела...»

От правды побледнела, от правды, может быть, впервые осознав, что ее любовь вторична...

Разве узнали бы мы, что достичь желаемого от любимого можно и прощением его: «Смерти я ему не хочу... Сгорая я там все говорила... Вы меня не попрекайте за это... Из сердца его не выкинешь, но и так жить тяжелехонько!..»

И далее простенькая такая просьба, сжимающая до спазм горло чуткому и сердечному читателю, просьба, как одеть, прежде чем положить в гроб: «Маманя, вы меня оденьте в зеленую юбку, в энту, какая с прошивкой на оборке... Гриша любил, как я ее надевала...»

Насколько же верно подобраны Шолоховым эти слова, как точно и трогательно они передают нетленное женское чувство земной любви, живущее в человеческом сердце до последнего вздоха. Слова, дающие нам возможность прикоснуться к тайнам человеческой любви и к тайнам человеческих отношений, позволяющие стать чище и лучше человеческим душам:

«Григорий страдал не только потому, что по-своему он любил Наталью и вык-ся с ней за шесть лет, прожитых вместе, но и потому, что чувствовал себя винов-ным в ее смерти. Если бы при жизни Наталья осуществила свою угрозу — взяла детей и ушла жить к матери; если бы она умерла там, ожесточенная в ненависти к неверному мужу и непримирившаяся, Григорий, пожалуй, не с такой силой испы-тывал бы тяжесть утраты, и уж, наверное, раскаяние не терзало бы его столь яростно. Но со слов Ильиничны он знал, что Наталья простила ему все, что она любила его и вспоминала о нем до последней минуты. Это увеличивало его страда-ния, отягчало совесть укором, заставляло по-новому осмысливать прошлое и свое поведение в нем...»

Как ни старался Григорий, уехав в поле, забыть о своем горе, в мыслях он неиз-бежно возвращался к этому. Он изнурял себя работой, часами не слезая с лобог-рейки, и все же вспоминал Наталью; память настойчиво воскрешала давно ми-нувшее, различные, зачастую незначительные эпизоды совместной жизни, раз-говоры. Стоило на минуту снять узду с услужливой памяти, и перед глазами его вставала живая, улыбающаяся Наталья. Он вспоминал ее фигуру, походку, мане-ру поправлять волосы, ее улыбку, интонации голоса...»

*Когда бы не Лукерья...* Что была бы для нас «Поднятая целина» без этого обжи-гающего намека на то, что можно обобществить все: надел земли, домашний скот, здания, имущество, но только не сердечное влечение, сердечную привязанность, человеческую любовь? В своем праве на нее эта ладная казачка с золотистыми вес-нушками подтвердила истину, что любят не за что-то, а потому что... Ведь Лукерья Нагульнова с радостной безотчетностью и житейской смелостью отдается лишь ку-лацкому сыну, который сбежал из ссыльных мест и прячется в окрестностях хуто-ра Гремячий Лог, презрев мужа, с его ушибленной мечтой о мировой революции, презрев председателя колхоза Семена Давыдова, не устоявшего в своем влечении и попавшего к ней в ухажеры. Не от кого-нибудь, а от этой разгульной казачки, чей «милый сердцу запах всегда сухих и трепетных губ, постоянно меняющееся выра-жение ее горячих глаз» будет помниться и после разрыва, Давыдов получит урок об истинном мужском достоинстве. Слова ее прозвучат резкой пощечиной:

«— Тоже мне жених нашелся! Да на черта ты мне нужен, такой трус слюня-вый. Так я за тебя и пошла замуж, держи карман шире! Ты по хутору со мной вместе стесняешься пройти, а туда же, «давай поженимся!» Всего-то он боится, на всех оглядывается, от ребятишек и то шарахается, как полоумный. Ну и ступай со своим авторитетом... Думала, что ты человек как человек, а ты вроде Ма-карки моего: у того одна мировая революция на уме, а у тебя — авторитет. Да с вами от тоски любая баба подохнет!..»

Но в романе звучит не только эта однобокая правда Лукерьи-Гликерии... Есть и такие исполненные искреннего чувства шолоховские слова: «Вот и отпели дон-ские соловьи дорогим моему сердцу Давыдову и Нагульнову, отшептала им по-спевающая пшеница, отзвенела по камням безымянная речка, текущая откуда-то с верховьев Гремячего буерака... Вот и все!» Писатель здесь применяет тот ред-костный творческий прием, когда сам становится персоналием произведения и говорит, словно находясь между ними.

Так было в «Тихом Доне» с обращением к родной степи: «Родимая степь... Низ-ко кланяюсь и по-сыновьи целую...»

Так и в «Поднятой целине» — «дорогим моему сердцу»...

*Когда бы не Варя...* Что была бы для нас, читателей, вторая, дописанная почти четверть века спустя, книга романа «Поднятая целина»? Вместе с сожалением о гибели Семена Давыдова, как писали в школьных сочинениях, «достойного пред-ставителя рабочего класса», успокоенно теперь думается, что ему *там* «веселей будет лежать», осиянному чистой девичьей любовью...

*Когда бы не Ирина...* Благодаря ей, и писателю в первую очередь, рассказ «Судьба человека» становится чем-то большим просто рассказа о способности действовать героически, не подозревая об этом; о способности не увеличивать бытующую жалость к сиротству, а взять на воспитание мальчика-сироту, не имея ни кола ни двора. «Судьба человека» — это еще и житейский плач-назидание с пронзительным предчувствием женского сердца: «Мы не увидимся больше с тобой...» В безутешных, об одном и том же словах, безотчетных движениях Ирины — страстная просьба об очень малом и большом: «И каждый раз навек прощайтесь, и каждый раз навек прощайтесь, когда уходите на миг!»

И все это в книгах Шолохова — в неразрывном сцеплении и взаимодействии чувственных, плотских, семейных и общественных проявлений любви с сотнями и тысячами лиц, фактов, деталей, оттенков, запахов и звуков, ввергнутых в орбиту его произведений от исторических событиях — Первой мировой войне, революции, гражданской войне, коллективизации, Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, изменивших жизнь россиян и большей части планеты.

В послесловии к 8-томному собранию сочинений Шолохова, изданному в 1975 году, писатель Юрий Бондарев подметил причину взаимопроникающей связи читателей с персонажами шолоховских произведений: «Шолохов измеряет реальную жизнь и людскую особь в ней земными переменчивыми чувствами, и поэтому нет преграды между героями и читателем».

Более того, произошло таинственное переформатирование содержания прочитанного не только в мысли и чувства, но и, что существование всего, — в деяния читателей. Именно потому на набережной станицы Вешенской, а стало быть, у берега всего великого Тихого Дона, и стоит народный памятник Григорию Мелехову и Аксинье Астаховой. Памятник Любви! Обыденной и возвышенной, радостной и мучительной, взаимной и разрывной, живительной и испепеляющей, соленой и светлой, как чистая слеза многоликой Любви, любви по-казачьи, по-русски.

Порыв вешенцев приумножен в Верхнемамонском районе Воронежской области, где по доброй воле шолоховских почитателей заложен мемориальный камень на месте будущего памятника литературному герою хрестоматийного произведения — рассказа «Судьба человека» — Андрею Соколову. Правда, годы идут, а намерения пока так и не достигли дела.

Чтобы понять истоки талантливых шолоховских строк, надо вспоминать один читательский отклик на роман «Тихий Дон». Отклик бывшего главнокомандующего войсками повстанцев Павла Назаровича Кудинова: «Роман Шолохова «Тихий Дон» — есть великое сотворение истинного русского духа и сердца... Читал я «Тихий Дон» взахлеб, рыдал-горевал над ним и радовался — до чего же красиво и влюбленно все описано, и страдал-казнился — до чего полынно-горька правда о нашем восстании. И знали бы вы, видели бы вы, как на чужбине казаки-батраки-поденщики собирались у меня в сарае и зачитывались «Тихим Доном» до слез и пели старинные донские песни... И многие рядовые офицеры допытывались у меня: «Ну, до чего же все точно Шолохов про восстание написал, скажите, Павел Назарович, не припомните, кем он у вас служил в штабе, энтот Шолохов, что так досконально все мыслию превзошел и изобразил». И я, зная, что автор «Тихого Дона» в ту пору еще отроком был, отвечал полчанам: «То все, други мои, талант, такое ему от Бога дано видение человеческих сердец!..»

От Бога дано и видение человеческих сердец, погруженных в земную любовь, со всеми ее радостями и плачем, страстями и смирением, покорностью и беспределом, потерями и обретением. Тем более что страницы о Любви, как и все у Шолохова, исполнено безупречным художественным языком, неподражаемым стилем с безупречной художественной логикой и художественной истиной.

Роман «Тихий Дон» начинается стиливым сочетанием простых и сложных предложений: «Мелеховский двор — на самом краю хутора. Воротца со скотиньего база ведут на север к Дону. Крутой восьмисаженный спуск меж замшелых в прозелени меловых глыб, и вот берег: перламутровая россыпь ракушек, серая изломистая кайма нацелованной волнами гальки и дальше — перекипающее под ветром вроненое стремя Дона...»

И такой стиливой почерк выдержан в «Тихом Доне» — от первой до последней страницы, от первых до последних строк: «Что ж, вот и сбылось то немногое, о чем бессонными ночами мечтал Григорий. Он стоял у ворот родного дома, держал на руках сына...»

Это было все, что осталось у него в жизни, что пока еще роднило его с землей и со всем этим огромным, сияющим под холодным солнцем миром».

А перед этими строчками: «Все ласковые и нежные слова, которые по ночам шептал Григорий, вспоминая там, в дубраве, своих детей, — сейчас вылетели у него из памяти. Опустившись на колени, целуя розовые холодные ручки сына, он сдавленным голосом твердил только одно слово: Сынок... сынок...»

Насколько точна интонация, безупречно подобрано слово! Говорят, как-то был найден еще один вариант концовки завершающей восьмой части романа, где вместо слова «сынок» стояло — «сыночек», и Шолохов отстраненно взглянул на тот давний текст, потому что для писателя уже было окончательно решено: первоначальное «сыночек» не соответствовало душевному состоянию Григория...

Сложный поиск нужного слова виден по зачеркиванию, поправкам и вставкам, сделанным твердым почерком. Вот Григорий Мелехов, перейдя по мартовскому ростепельному льду через Дон, увидел сына, обламывающего на спуске «свисавшие с камня ледяные сосульки». Шолохов вначале написал «ледяшки»... Потом снова зачеркнул и исправил на «осколки». И теперь не «скользят» они, а уже ... «катятся». Катятся «вниз, под гору»...

Или вот в начале первой книги «Тихого Дона» есть сюжет о свидании Григория и Натальи, помолвленных жениха и невесты, сюжет, написанный удивительно просто: «Под навесом сарая, где кормился у яслей Гришкин конь, подседланный новехоньким нарядным седлом, шмыгнула рукой за пазуху и, краснея, глядя на Григория влюбленными глазами, сунула ему в руку мягкий, таящий тепло ее девичьих грудей матерчатый комочек. Принимая подарок, Григорий ослепил ее белозною своих волчьих зубов, спросил:

— Это что?

— Там увидишь... кисет расшила...

Григорий нерешительно притянул ее к себе, хотел поцеловать, но она с силой уперлась руками ему в грудь, гибко перегнулась назад и со страхом метнула глазами на окна.

— Увидют!

— А нехай!

— Совестно...

— Это по-первам, — пояснил Григорий.

Она держала поводья. Григорий жмурился, ловил ногой зазубренное стремя. Он уселся поудобней на подушке седла и поехал с база. Наталья отворила ворота, из-под ладони глядела вслед: Григорий сидел по-калмыцки, слегка свесившись на левый бок, ухарски помахивая плетью.

«Одиннадцать ден осталось», — высчитала в уме Наталья и вздохнула и засмеялась».

А в четвертой, завершающей книге «Тихого Дона» Шолохов вспоминает тот же сюжет, но в иной тональности, словно счастливый сон-воспоминание Натальи за три дня до смерти: «Она вспомнила, глядя на закат, как когда-то давно, когда

она была еще невестой Григория, приезжал он ее проведать, и она вышла проводить его за ворота, и тогда так же горел закат, малиновое зарево вставало на западе, кричали в вербах грачи... Григорий отъезжал, полуобернувшись на седле, и она смотрела ему вслед со слезами взволнованной радости и, прижав к острой, девичьей груди руки, ощущала стремительное биение сердца...»

И если вспомнить, как Шолохов искал слово «сыннок», соответствующее тому мигу жизни Григория, то сколько же стоило творческих исканий писателю, чтобы передать каждое движение женской души?!

Самобытность творчества писателя Шолохова особенно проявляется, когда он писал о человеческих отношениях, о любви — самой сложной и непредсказуемой чувственной человеческой материи души и тела. Писал, не упрощая и не скрывая сложности, тяжести, трагичности любовных и семейных отношений в казачьем сословии, придерживаясь художественной истины русской классики. Богом данное ему видение человеческих сердец он сполна использовал для того, чтобы точно найденным словом запечатлеть каждое движение из множества человеческих чувств...

Полынно-горька у Шолохова правда о гражданской войне, этого, словно с бевсовской подачи, гражданского противостояния, о Вешенском восстании, спровоцированном неразумными действиями первого в мире советского правительства, наметившего силой военной «рассказачить» казаков России, поделить народ России на «красных и белых» —

Кто это, бабушка?

Бьются, сражаются!

Мчатся на конницах! В кровь расшибаются!

Кто ж это, бабушка? Белые? Красные? —

«Русские, деточка! Слезы напрасные...»

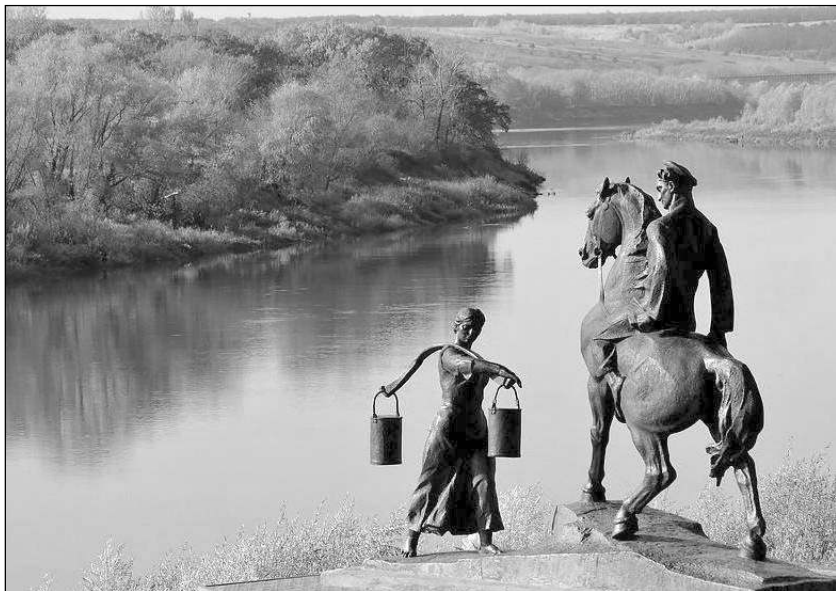
Как в воду бабушка смотрела. Не только напрасные слезы... Напрасными оказались и муки, и терзания, и смерти, и кровь... Что осталось будущим поколению? Недоумение... Ради чего 70 лет все страдалось и вымучивалось?!

Печальный аналог тому прошлому с революцией и гражданской войной — это сегодняшняя братоубийственная гражданская война на Донбассе, жители которого пожелали, чтобы вместе с украинским языком они могли без притеснений разговаривать на тоже родном для них русском языке, чтобы иметь определенные предпочтения в государственном устройстве в форме федерализации. Всего-то лишь... Но как сейчас там, на Донбассе, — так и тогда в Вешенской: «Два дня Вешенская была под усиленным обстрелом. Жители не высывались из погребов и подвалов. Лишь ночью оживали изрытые снарядами улицы станицы».

Так же полынно-горька у Шолохова и правда о терниях на огромнейшей литературной территории любви его книг. И во всех эта «горькая сладость любви», любви — горше, чем сок молочая... Почти ни у кого же личное и семейное счастье, основа которого и есть любовь, не складывается...

Книга «Тихий Дон»... Есть надежда, правда, с одновременным сомнением, что сложится семья у Михаила Кошевого и Евдокии Мелеховой. Может быть, у Степана Астахова, который из тысячи беженцев сумел попасть на пароход, чтобы вновь оказаться за границей, где он прочно обосновался будучи в немецком плену? Может быть, и у Ольги Горчаковой, по фамилии первого мужа, которая запомнилась тем, что, увидев впервые Аксинью, сказала с восхищением и сожалением: «Какая порочная красота!» Ольга, жена Листницкого, которая во время повального бегства белых за границу сумела увлечь собой генерала и занять с ним каюту на пароходе?..





Памятник Григорию и Аксинье в Вешках

В книге «Поднятая целина» семейное благополучие, по житейским понятиям, обрела почему-то лишь Лукерья Нагульнова, которая вынужденно уехала работать на угольную шахту, где вышла замуж за горного инженера и стала гордо именовать себя Лукерьей Никитичной Свиридовой!

В «Судьбе человека» мы осторожно можем понадеяться на справедливое обретение отцовства и семейного счастья Андреем Соколовым, подобравшим сироту-мальчишку, назвав себя его отцом... Но это только надежда, потому что человеку, сделавшему добро, судьба продолжает платить злой монетой: нет у названного отца пока ни удачи в поисках основательной работы, ни прочной крыши над головой...

В «Судьбе человека» Шолохов снова применяет тот редкостный творческий прием, когда писатель вводит себя в персоналии произведения и говорит от себя лично. Так в «Тихом Доне» с обращением к родной степи: «Родимая степь... Низко кланяюсь и по-сыновьи целую...» И в «Поднятой целине»: «Вот и отпели донские соловьи дорогим моему сердцу Давыдову и Нагульнову, отшептала им поспевающая пшеница, отзвенела по камням безымянная речка, текущая откуда-то с верховьев Гремячего буерака... Вот и все!».

Так стало и теперь — в рассказе «Судьба человека»...

«Два осиротевших человека, две песчинки, заброшенные в чужие края военным ураганом невиданной силы... Что-то ждет их впереди?..»

С тяжелой грустью смотрел я им вслед... Может быть, все и обошлось бы благополучно при нашем расставании, но Ванюшка, отойдя несколько шагов и заплетая куцыми ножками, повернулся на ходу ко мне лицом, помахал розовой ручонкой. И вдруг словно мягкая, но когтистая лапа сжала мне сердце, и я поспешно отвернулся... Тут самое главное — не ранить сердце ребенка, чтобы он не видел, как бежит по твоей щеке жгучая и скупая мужская слеза».

Как писатель Шолохов мог бы число счастливых увеличить, но тогда это было бы искажением правды жизни и того времени, в котором эта жизнь проходила, а



Кадр из кинофильма «Судьба человека»

в творчестве — искажением целостной системы художественной правды о том времени и о поведении персонажей в том времени...

По судьбам одних, по их личному счастью катком прошли «смутный путь, сомнительная эра». Другие вне зависимости от внешних обстоятельств пришли к тому же, самолично растоптав и развевая любовь и семейное счастье.

У каждого персоналия «Тихого Дона» *свой* путь к «правде, под крылом которой мог бы согреться каждый», *свой* путь к семейному счастью и несчастью, *свой* путь с крестом любви. Крест любви дается каждому человеку: «Бог так любит, / что

не осуждает. / За что и наказать бы мог, / Еще любовью награждает...» А далее — как в евангельской притче о талантах (самая большая денежная единица у древних греков и римлян), о приумножении их, или бездейтельном сокрытии, что равнозначно уничтожению, изводу...

Вот и у донских казаков, смелых и находчивых на поле брани, у казачек с их природной красотой, веселым характером, недюжинной жизненной стойкостью, выносливостью, терпением, чаще всего убывает, а не прибывает в личной любви и в судьбе.

А ведь как умели любить, какими необыкновенными могли быть!

И мы дивимся романтической любви Прокофия Мелехова, деда Григория, к плененной турчанке, с невиданно чутким и сердечным, такого несвойственного для мужчин-казаков к женам-казачкам отношения к ней:

«...Прокофий вечерами, когда вянут зори, на руках носил жену до Татарского жнига кургана. Сажал ее там на макушке кургана, спиной к источенному столетиями ноздреватому камню, садился с ней рядом, и так подолгу глядели они в степь, глядели до тех пор, пока истухала заря, а потом Прокофий кутал жену в зипун и на руках относил домой».

И внук Григорий возносится высоко, взлетая над житейской казачьей сухостью, маргинальной сердечной скупостью: «Впереди рассыпанной радугой цвели бабьи завески, но он искал глазами одну: белую, с прошитой каймой; оглядывался на Аксинью и, снова приноравливаясь к отцову шагу, махал косой.

Аксинья неотступно была в его мыслях; полузакрыв глаза, мысленно целовал ее, говорил ей откуда-то набредавшие на язык горячие и ласковые слова, потом отбрасывал это, шагал под счет — раз, два, три; память подсовывала отрезки воспоминаний: «Сидели под мокрой сосной... в ендове свиристела турчелка... месяц над займищем... И с куста в лужину редкие капли вот так же — раз, два, три... Хорошо, ах, хорошо-то!»

А Степан Астахов с его тяжкой, ненавидящей любовью к Аксинье! Попав в плен в Первую мировую войну, богато там зажил, но все бросил из-за этой не оставляющей и не остывающей любви к Аксинье:

— Думал об тебе... Сердце кровью запеклось... День и ночь из ума не шла... Я жил там со вдвой, немкой... богато жил и бросил... Потянуло домой...

Так почему же, почему у донских казаков, кои «Мы — донские казаки! Чистых кровей, без подмеси! Наше дело — рубить», у их невест, жен и детей сплошное невезение, а в казачьем сословии упадок нравов, растрата традиций?

С внешней стороны обстоятельства всякого рода: «Бешеной коловертью пенилась жизнь. Люди, нюхавшие запах пороха, ослепленные и оглушенные происшедшим, жили стремительно и жадно, одним нынешним днем». Но и люди, не оглушенные войной, не отставали...

Аксинья, услышав от Листницкого, что она должна покинуть именье, потому что он, как женатый человек, не может с Аксиньей быть «как раньше», спокойно воспринимает известие и лишь обеспокоенно спрашивает?

— Ну что же, уйду. Напоследок аль не пожалеешь?..

— Что же ты хочешь?

Он досадливо кашлянул и вдруг почувствовал, как она снова робко ищет его руку...

Через пять минут он вышел из-за куста мокрой пахучей смородины, дошел до прясла и, пыхая папироской, долго тер носовым платком брюки, озелененные в коленях сочной травой.

Входя на крыльцо, оглянулся. В людской, в желтом просвете окна, виднелась статная фигура Аксиньи, — закинув руки, Аксинья поправляла волосы, смотрела на огонь, улыбалась...»

Здесь ни низко, ни подло — как есть... Между прочим, писатель смягчает поведение Аксиньи ее объяснением перед Листницким: «Меня нужда такой бессостыжной сделала... Измучилась я одна... Ты не суди, Женя».

Михаил Александрович Шолохов каждого из персонажей или любит, или находит каждому объяснение его неблагоприятного, порочного поступка: таковы люди, такова жизнь. Писатель никого из своих персонажей прямолинейно и казенно ни обвинил, ни осудил — писатель щедрой словесной палитрой, не экономя про запас, объяснял каждое движение души человеческой натуры...

Вот Наталья, крещеная, в церковь ходит. Об этом узнаем сразу, как только в «Тихом Доне» упомянуто ее имя. И узнаем не от кого-нибудь, а от Аксиньи. Услышав от Григория, что его хотят женить на Наталье Коршуновой и ладятся посылать сватов, сказала:

— Наталья... Наталья — девка красивая... Дюже красивая. Что ж, женись. Надьсь видела ее в церкви... Нарядная была...

Стало быть, и Аксинья крещеная и в церковь ходила. Более того, в первый же день, как только болезнь свалила ее девочку с ног, Аксинья вспомнила горькие Натальины слова: «Отольются тебе мои слезы...» Вспомнив, осознает, что это бог наказывает за то, что тогда глумилась над Натальей.

И у самой Натальи, по причине необычайно завышенной требовательности ответа на свою любовь, отсутствовал ориентир на Любовь христианскую. Любовь, которая «долготерпит, милосердствует, не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, все переносит...»

...Бог, создав человека и вдохнув в него дух, то есть жизнь, за нарушение заповедейсылает на землю. С суровым предупреждением — в поте лица своего будешь добывать хлеб себе вместе с радостной легкостью земной: любитесь и множьтесь. Но человек, в лице его все человечество, сделал все по-своему: стал находить радости в работе, и печали в любви и семейной жизни. Потому что у каждого человека, который «по земле идет, а не облаку», своя цена за ответную взаимность в любви, и ее, эту цену, человек считает самой справедливой, и вот уж где торг считается неуместным — непоколебимо. И торг за свою цену идет у большинства. О, как убийственно мы любим!..

Не надо быть идеалистами: добиться, хотя бы приближенного, соответствия

личной любви параметрам любви христианской доступно далеко не каждому глубоко верующему человеку. Но всем доступно, в ту пору особенно, в пору времени, которому и был посвящен «Тихий Дон», боязнь греха. Однако Наталья совершает три смертных греха: покушается на самоубийство, проклинает Григория, завершая грехом детоубийства. В отместку Григорию за подлость твердо решает — а характера у Натальи на десятерых хватит — не рожать третьего ребенка, идет к местной бабке-повитухе и «травит плод», что сегодня означает банально распространенное «делает аборт». Писатель объясняет, почему так вынуждена была поступить Наталья, и мы не осуждаем ее, напротив — сочувствуем и прощаем. Ну, это мы, такие же грешники... А там, на небесах?.. И боязнь греха у Натальи присутствует. В разговоре с Дарьей, которая призналась, что, гуляя на стороне, заразилась и неизлечимо больна и что помышляет о самоубийстве, Наталья сказала: «Какие ты речи ведешь... Бога побоялась бы!»

И следует ответ, объясняющий причину поведения и жуткий жизненный финал будущей утопленницы:

«— Мне он, бог, зараз ни к чему. Он мне и так всю жизнь мешал. — Дарья улыбнулась, и в этой улыбке, озорной и лукавой, на секунду Наталья увидела прежнюю Дарью. — Того нельзя было делать, этого нельзя, все грехами да Страшным судом пужали... Надоело, Наташка, мне все! Люди все поопостылили...»

Трудновато трактовать тему «греха» применимо к творчеству Шолохова. И вовсе не потому, что тема греха и вероисповедания среди донского казачества редко упоминаема, обойдена. В романе «Тихий Дон» Шолохов об этом сложнейшем моменте пишет правдиво, без ангажированности, без угоды начавшемуся тогда в СССР воинствующему махровому атеизму. Писателю и не надо было лавировать, ему, с его пристальным неуступчивым взглядом на все аспекты бытия донского казачества, оставалось лишь художественной речью рассказать о том, что же было на самом деле.

Духовное кредо дореволюционного казачества — «За веру, царя и Отечество». Первая из триады вера православная не регламентирована ничем: ни уставом, ни присягой, ни кодексом, а волей и совестью каждой казачьей души. В «Тихом Доне» точно и доказательно зафиксировано, что в большинстве своем казаки и казачки, исправно посещающие церкви, ведут себя в быту, в семье, в хуторском мире по своим понятиям, не вспоминая о божьих заповедях.

Посмотрим на поведение внешне богомольного старого поколения? Пантелей Прокофьевич Мелехов? Не забывает помолиться при каждом случае. На сенокосе «Пантелей Прокофьевич перекрестился на беленький стручок далекой колокольни, взял косу... занес косу, поворачивая морщинистую шею вправо. Сажненное полукружье смахнутой травы легло под его ногами». А как он ведет себя в корыстной поездке «поджиться добром»? Получив отказ Григория в этом, Пантелей Прокофьевич улаживает «свои отношения» с людьми и с Богом: «...хозяином вошел в амбар, поспирал с поветки хомуты и шлейки, понес к своей бричке. Следом за ним шла хозяйка, с лицом, залитым слезами, кричала, цепляясь за плечи:

— Батюшка! Родимый! Греха не боишься! За что сирот обижаешь? Отдай хомуты! Отдай, ради Господа Бога!

— Но-но, ты Бога оставь, — прихрамывая, баробoshi и отмахивался от бабы Мелехов. — Ваши мужья у нас тоже небось брали бы. Твой-то комиссар, никак?.. Отвяжись! Раз «твое — мое — богово», значит — молчок, не жалься!»

Между тем известный критик и публицист Вадим Кожин, исследуя этот аспект в шолоховском творчестве, сделал такой вывод: «Совершающие страшные деяния главные герои «Тихого Дона», в конечном счете, остаются людьми в полном смысле этого слова, людьми, способными совершать и бескорыстные, высокие, благородные поступки: дьявольское все-таки не побеждает в них Божеского».

Сложновато привыкать к такой реальной данности, что «дьявольское все-таки не побеждает Божеского» после прочтения об этом же у Шолохова. Но противоречия здесь нет: Вадим Кожинво одновременно утверждает, что дьявольское проявление было — и было активным, успешным, почти победительным. И помогли этому «успеху», несомненно, и отдельные проступки отдельных персонажей «Тихого Дона»...

Ведь когда-то и в библейских городах Содом и Гоморра, сожженных небесным огнем с серой, плотское растление было совершено их жителями не разом, не одномоментно, а постепенно, начиная с единичных случаев, с эстафеты порока от поколения к поколению... Напоминание об этом может спровоцировать вопрос: «Так что, если бы истово соблюдали веру православную на Тихом Доне, то не произошло бы здесь то, что произошло?» Произошло бы... К сожалению. Казачье сословие — единая часть русского народа. Тяжелая болезнь в облике революции постигла Россию. Это теперь мы знаем, что она завершилась ничем... А тогда восторженно верили «будет счастье людям, счастье на века». Не только верили, но и жаждали, и способствовали... И были тогда правы. Кесарь не сделал, что положено кесарю, вызывая недовольство и справедливый гнев подданных. В экстазе люди жестокосердно посчитали, что и Богово им не нужно, приветствуя отмену религий совнаркомовскими декретами. Так что новая советская власть законодательно закрепила по своей властной воле и заодно то, что подспудно созрело у большинства русского народа. Ведь немало святотатства совершалось не только по воле комиссаров, но и по добровольному безумию... В воронежском Костомарово, в монастыре, на иконе Богородицы оставили дыры от пуль потешавшиеся красноармейцы; несомненно, то были дети из православных русских семей...

Мария Биневская, красивая, жизнерадостная, «глубоко совестливая натура», как писал о ней эсер Савинков, известный в то время писатель, готовила бомбы для террористической организации партии социалистов-революционеров. Когда ее, верующую христианку, спросили на суде, почему она пошла на террор, прочитала из Евангелия: «Иже бо аще хочет душу свою спасти, погубит ю, а иже погубит душу свою мене ради, сей спасет ю». Под «мене» подразумевался не христианский Бог, а Бог — Революция...

По укоряющим словам Ильиничны, и на тихом Доне тоже, Бога в свои поганые дела впутывали... Это так по-житейски отреагировала Ильинична, свекровь, на то, что на бахче Наталья, глядя на грозовую тучу, просила небо и бога покарать Григория за подлые его измены:

— Норов у вас, у молодых, велик, истинный бог!.. Вон какую чуду сотворила... бога и то в ваши поганые дела путала... Ну, скажи, болезная, и это — хорошо?..»

Не потому ли и не слали помощи небеса? В ответ на дерзкие молитвенные просьбы к Богу и призыв его на дела несправедные, греховные...

Михаил Александрович Шолохов писал обо всем честно, русским словом и талантом, данным ему от Бога, мудро, не поспешая, неустанно запечатлевал увиденное и услышанное... Чем жило казачье сословие, о чем думало, как воевало, как мучилось, когда надо было приклоняться к красным или к белым, к колхозу, или суметь уклониться от него. Как думали и говорили о Боге и религии, перемезжая, о сенокосах и хлебе, о рыбной ловле, о семьях, родных и близких, о женщинах и любви. Часто ерничая, скрывая в себе истинные чувства. Все, что именуется кратким словом «жизнь», навечно и запечатлели «Донские рассказы» и «Тихий Дон», «Поднятая целина» и «Они сражались за Родину», «Наука ненависти» и «Судьба человека» — произведения гениального писателя XX века Михаила Александровича Шолохова.